

Антология Сатиры и Юмора России XX века



Сатиры и Юмора России



Сатиры и Юмора России XX века

Василий Аксенов



Антология Сатиры и Юмора

Антология Сатиры и Юмора

Антология Сатиры и Юмора

Антология Сатиры и Юмора

Василий Аксенов
Стальная Птица

«ЭКСМО»

1965

Аксенов В. П.

Стальная Птица / В. П. Аксенов — «Эксмо», 1965

ISBN 978-5-425-04596-6

ISBN 978-5-425-04596-6

© Аксенов В. П., 1965

© Эксмо, 1965

Содержание

Появление героя и попытка портрета	5
Воспоминания врача и более детальный портрет	7
Глава первая	9
Справка техника-смотрителя	16
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Василий Аксенов

Стальная Птица

Повесть с отступлениями и соло для корнета

*Там, где пехота не пройдет,
Где бронепоезд не промчится,
Тяжелый танк не проползет,
Там пролетит стальная птица.*

Боевая песня 30-х годов

Появление героя и попытка портрета

Кажется, герой моего повествования появился в Москве весной 1948 года, во всяком случае, на Фонарном переулке он был замечен именно тогда. Возможно, что он обитал в столице и раньше, никто не отрицает, может быть, даже ряд лет, мало ли еще у нас осталось «белых пятен» на карте города.

Острый запах плесени, очень нечистого и влажного белья, почти мышиный запах поразили людей, столпившихся вокруг пивного киоска, что напротив дома № 14 по Фонарному, когда герой проходил мимо. В ноздри имшибануло разрухой и ненастьем, распадом, гниением, сумерками цивилизации. Бывалый и в прошлом боевой народ, прошедший от Волги до Шпрее, был ошеломлен – уж очень не вязался этот запах, этот знак абсурдных разрушительных сил с весенним московским вечером, с голосами Вадима Синявского и Клавдии Шульженко, с мирным фырчанием плененных «Бээмвэ» и «Опелей-Адмиралов», с отменой карточной системы, с воспоминаниями об отступлениях и наступлениях, с пивом, с ржавой, но удивительно вкусной тюлькой, с женой замминистра З., очаровательные руки которой всколыхнули штору бельэтажа буквально минуту назад.

Запах этот вязался с тем, чего не было даже в самые гиблые времена, с тем, о чем нормальный человек никогда не думает, не гадает, даже не с адом, с чем-то похуже.

Ошеломленные эпизодические персонажи немо уставились на слабую спину моего героя, и в это время он остановился. Бывший десантник Фучинян, человек мгновенных и точных решений, и тот растерялся, глядя на героя, на бледные, слегка волосатые его кисти, на две авоськи в этих кистях, на авоськи с выпиравшими из ячеек клочьями желтых газет. Из авосек что-то темное капало на асфальт. Все же Фучинян решил встряхнуть народ шуткой, ликвидировать гнетущую ситуацию, сгруппировать дружков для отпора.

– Вот крысеныш, – сказал он. – Был бы котом, слопал бы – и дело с концом.

Дружки захохотали было, чуть ли не сгруппировались, но в это время герой мой повернулся к ним и остановил хохот невыразимой печалью своих глазниц, глубоких и темных, как железнодорожные тоннели в раскаленной Месопотамии.

– Скажите, пожалуйста, товарищи, – сказал он обыкновенным голосом, от которого все же что-то дрогнуло у каждого пивника внутри, – как мне пройти к дому № 14 по Фонарному переулку.

Эпизодические персонажи молчали, и даже Фучинян молчал.

– Не откажите в любезности объяснить, – сказал герой, – дом 14 по Фонарному.

- У вас что-то капает из сеток, – глухим срывающимся голосом промолвил Фучинян.
 - Немудрено, – кротко улыбнулся герой. – Это мясо, – он поднял правую руку, – а это рыба, – он поднял левую руку. – Omne a me a месим porto, – он еще раз улыбнулся, в месопотамских тоннелях забрезжил свет.
 - Дом 14 напротив, – сказал кто-то. – Вот этот подъезд. Вам кого там?
 - Спасибо, – сказал герой и пошел через улицу, оставляя за собой две цепочки темных пятен.
 - Где-то я видел этого, – сказал кто-то.
 - Я тоже встречал, – сказал другой.
 - Знакомое рыло, – сказал третий.
 - Довольно! – закричал Фучинян. – Вы меня знаете, я – Фучинян! Кто хочет пива – пусть пьет, а кто не хочет, пить не будет. Тут все меня знают.
- И, несмотря на ужасно нервную обстановку, все стали пить пиво.

Воспоминания врача и более детальный портрет

До сих пор история с его первой болезнью и с моим участием в ней остается для меня загадкой. Во-первых, я не понимаю, как это я, в то время уже опытный клиницист и, по общему мнению, неплохой диагност, не смог установить диагноз, не смог даже ориентировочно предположить характер болезни. Я никогда не видел ничего подобного – не было печки, от которой можно было бы танцевать, не было ни малейшего плацдарма для развития медицинской мысли, не было никакой зацепки.

Передо мной лежало оголенное тело сравнительно молодого мужчины; подкожный жировой слой был несколько недостаточен, но в общем близок к норме; кожные покровы бледные, грязные, несчастные (помню, что я похолодел от страха, когда употребил в уме этот абсолютно не медицинский термин, но дальше дело пошло еще хуже); дыхание ровное, хрипов не прослушивалось, а только лишь прослушивался хлопотливый шепот альвеол, да с тихим чириканьем гемоглобин насыщался кислородом; сердечные тоны отчетливы и ритмичны, но все же при прослушивании мне стало ясно, что это страдающее сердце (мы, врачи, смеемся над лирическим термином «страдающее», ибо каждому мало-мальски культурному человеку известно, что духовные страдания развиваются в коре больших полушарий, но в данном случае это было духовно страдающее сердце, и мне опять стало страшно); живот мягкий и безболезненный при пальпации, но в сигмоидальной кишке таилась странная игривость (это совсем сбило меня с толку); периферические кровеносные сосуды просматривались на конечностях под кожным покровом, а на правом бедре я вдруг прочел формулу крови, словно отпечатанную на бланке нашей клинической больницы: L 6500, РОЭ – 5 ми/час, НВ-98 (формула была нормальна) – словом, никаких признаков физического страдания при объективном осмотре обнаружено не было, и лишь в глазах его, в глубоких впадинах, в древнем пещерном городе, бушевали пневмония, миллиарный туберкулез, сифилис, рак, тропическая лихорадка, вместе взятые.

Все это во-первых, а во-вторых, я совершенно не понимаю, почему я не отправил его в клинику, а выскочил ночью на улицу и обегал всю Москву, будоража коллег, в поисках дефицитнейшего в те времена пенициллина.

Когда, вернувшись, я склонился над ним со шприцем, в котором был драгоценный пенициллин, какая-то из бесчисленных женщин, окружавших его ложе, пролепетала сзади:

– Доктор, ему будет не очень больно? Не очень, правда?

У меня у самого руки дрожали от жалости к этому существу, и ничтожный укол, который я собирался ему сделать, казался мне чуть ли не лапаротомией, но все же я вспомнил о своем медицинском звании и коротко приказал:

– Перевернитесь на живот.

Мгновенно он крутанулся на живот, я даже не разобрал, усилием каких мышц было совершено это движение.

– Спустите кальсоны, – сказал я.

Он спустил кальсоны, и обнаружились ягодицы очень неприятного вида, они были похожи на опушку леса, где корчевали пни, а потом прошел лесной пожар.

– Бедный, – ахнули позади женщины.

Когда игла вошла в верхний наружный квадрат правой ягодицы, мой пациент задрожал сначала мелко-мелко, потом началась бурная вибрация всего его тела, что-то щелкало, хлопотало у него внутри, что-то свистело, по подушке расплзались пятна пота, но это продолжалось не более минуты, потом все стихло, и он успокоился.

«Что это? – думал я, медленно двигая поршень шприца вперед. – Какие же тайные цепи приковали меня вдруг к этой ужасной заднице, к этому трансцендентальному существу?»

Когда процедура была окончена, пациент сразу перевернулся на спину, и в глазах его появились желтые огни, как прожекторы приближающихся поездов. Он улыбнулся кротко, даже униженно.

– Когда будем еще колоться, доктор? – спросил он.

– Всегда, дружок, когда захотите, в любое время дня и ночи, по первому мановению вашей руки, по первому призыву, где бы я ни был, – ответил я, не шутя.

– Спасибо, доктор, – просто поблагодарил он, но у меня сразу стало тепло на душе.

– Спасибо, доктор дорогой, вы его спасли, – зашептали женщины, смыкая кольцо. Мы замолчали все, чтобы запомнить навсегда величие этой минуты.

Все-таки я не удержался и измерил ленточным метром некоторые пропорции его тела. Эти данные я долгие годы хранил в секрете, а недавно их зашифровал Комитет по координации научно-исследовательских работ.

Глава первая

Николаев Николай Николаевич, управляющий домами Фонарного переулка, был занят разбором конфликта, вспыхнувшего между жильцами 31-й квартиры дома № 14 Самопаловой Марией и Самопаловым Львом Устиновичем.

Дело было хоть и нехитрое по сюжету, по сплетениям, но жестокое, боевое, примирения не предвиделось.

Мария и Лев Устинович прежде были супругами, но лет за десять до войны разошлись из-за непомерного разрыва в культурном уровне. Управдом это хорошо понимал и сочувствовал Льву Устиновичу, уважал его за решимость и сильную волю, потому что сам вот уже четверть века тяготился низким культурным уровнем своей благоверной.

Все это было давно и быльем поросло, и теперь, конечно, бывшим супругам даже не вспоминалось, что когда-то они сплетались в нежных объятиях и забывали самое себя в порывах безудержной взаимной страсти. Теперь они сидели перед Николаевым и смотрели друг на друга с тяжелой застоявшейся недобротой. Надомница Мария была грузная и темная лицом, а зав. парикмахерским цехом Лев Устинович как раз наоборот – суховат и светел.

Самопалов тогда же, лет десять до войны, ввел в свой дом Зульфью, женщину восточного происхождения, и прижил от нее четырех мальчишек-чертенят, а Мария все эти годы бедовала с первенцем Самопалова, дочерью Агриппиной, оставила она ее при себе, воспитала и сделала помощницей в своем нелегком надомном ремесле.

Суть конфликта сводилась к жалобе Льва Устиновича на то, что Мария, прежде промышлявшая безобидным вышиванием, теперь завела себе ткацкий станок, который своим стуком, естественно, не создает Самопалову и его семье условий для отдыха никаких. Аргументы сторон были все уже исчерпаны, кроме главных козырных, которые были припрятаны про запас, и теперь стороны обменивались только ничего не значащими репликами.

– Обормоты вы, Лев Устинович, – говорила Мария.

– А вы, Мария, себялюбец, узкий эгоист, – парировал Самопалов.

– Ваш Сульфидон стучит погромче моего станка, когда о стенку вас головой-то колошматит.

– Боже мой! – задохнулся от негодования Самопалов. – Какая клевета! И потом я запретил вам, Мария, называть Зульфью Сульфидоном.

– А дитяти ваши как вечерами базлают? – не унималась Мария.

– А ваша Агриппина как ходит, полы дрожат! – воскликнул уязвленный Самопалов.

– Моя Агриппина тихая, как голубица, а вам, Лев Устинович, к сигналам прислушаться стоит – харкаете по утрам в туалете и производите звуки, аж на кухню не пройти.

– Неправда!

– Правда!

– Дети! – позвал Самопалов, и в кабинет управдома сразу вбежали четверо смуглых его пареньков, лучшие физкультурники дома № 14.

– Агриппина! – крикнула Мария, и в кабинет, переваливаясь, вкатилась невероятно пышная блондинистая ее дочь, лицом – вылитый Самопалов.

– Стыд-позор, Лев Устинович, – затараторила она, – как вы нас с матушкой притесняете в коммунальном вопросе, сил никаких нет.

Дети Самопалова от Зульфьи, Иван, Ахмед, Зураб и Валентин, крича, обступили Агриппину, и управдом Николаев не мог уже разобрать ни единого слова.

Ситуация, возникшая в 31-й квартире, угнетала Николая Николаевича невыразимо своей безысходностью, вся эта буря страстей вызывала в нем только печаль, но боже упаси, чтоб он выказал эту печаль и тревогу, ведь он был администратор, воля и страх, слово и дело

Фонарного переулка. Как он мог помочь этим людям, к чему он мог их призвать? Термина «мирное сосуществование» в то время не было. Единственное, что он мог сделать – посадить кого-нибудь из Самопаловых в тюрьму, но это, как ни странно, даже в голову ему не пришло. Что же делать, что предпринять, на кого опереться? Роль общественности в то время, как известно, была сведена к нулю: разделять и властвовать кнутом и пряником, как там еще.

– Замолчали, – негромко приказал он, и все Самопаловы замолчали, потому что знали – Николай Николаевич, хоть и медведь с виду, но бывает крут, а порой и своенравен.

– Я вам приказываю с сего дня прекратить раздоры и бои, – сказал жестко управдом и добавил уже мягче, с внутренней улыбкой: – Все ж таки родственники.

– А как же ткацкий станок? Поломать надо ткацкий станок! – рванулся было горячий Иван, но более рассудительный Ахмед его остановил.

– Товарищ управляющий домами, – обратился Самопалов, пуская в ход запряженные козыри, – ткацкий станок, как мне кажется, это типично капиталистическое средство производства, а в нашей стране, как мне кажется...

– Ах, Лев Устинович! Ах, такой-сякой! – вскричала Мария, поняв смысл его выступления. – Сами-то держите ваши средства и клиентов на дому принимаете, и замминистра у их в квартире броеете, халтурите налево, а бедную вдову под монастырь хотите подвести!

– Позвольте, какая же это вы вдова? – возмутился Самопалов. – Я ведь еще, кажется, жив. Среди моих жен вдов еще покамест не было.

– Мамочки справка есть из артели на станок, – заревела белугой Агриппина.

– Все равно не отдам станка, хоть со справкой, хоть без справки, – заявила Мария. – Я советский человек и станочка своего любимого не отдам. Сталину буду писать, отцу нашему.

– Не смейте! – закричал тут управдом, не на шутку рассердившись. – Не смейте упоминать имя генералиссимуса Сталина всуе! Это что еще такое? Только и дело Иосифу Виссарионовичу до ваших склок, до вашего станка дурацкого.

Ссора затихла, и Самопаловы покинули помещение конторы.

Николай Николаевич, отгоняя печальные мысли, навел на своем рабочем месте элементарный порядок, закрыл контору и отправился домой. Жил он в том же доме № 14, что и Самопаловы, построенном в 1910 году, а посему облицованном светящимся на закате кафелем. Дом имел шесть этажей, один парадный подъезд с вычурным козырьком над ним, действующий, хотя и дореволюционный, лифт, центральное отопление, телефоны и прочие удобства. Было в доме 36 квартир и 101 ответственный квартиросъемщик. Словом, этот дом был гордостью Фонарного переулка, да и во всеарбатском даже масштабе он был явлением значительным.

Отужинав, просмотрев «Вечерку» и покормив роскошных своих вуалехвостов, Николай Николаевич сел на тахту, извлек из чехла корнет-а-пистон и крикнул жене:

– Клаша, замкни!

Жена, привыкшая к таким командам, ничего не спрашивая, замкнула входную дверь и навесила цепочку. Николай Николаевич поднес к губам инструмент и тихонько, нежнейшим образом стал выводить мелодию «...И по эскадронам бойцы-кавалеристы, подтянув поводья, вылетают в бой».

Тут следует открыть маленькую тайну Николая Николаевича. До войны он был солистом духового оркестра в ЦПКиО им. Горького, а в военные годы, хоть и рвался на передовую, был зачислен в оркестр фронта. Игра корнетиста Николаева многих военачальников привлекала чистотой и мажорностью звука, и поэтому он дослужился к концу войны до майорского звания. Гвардии майор. Выйдя в отставку, он понял, что обратного хода ему нет – не может, не имеет права гвардии майор быть каким-то легкомысленным корнет-а-пистонщиком, хоть в ЦПКиО, хоть даже в оркестре Большого театра. Перечеркнув свое прошлое, Николаев явился в райком и попросился на руководящую работу. Так он стал управляющим

домами. Естественно, никто из жителей Фонарного переулочка не знал о прошлом Николая Николаевича, а те, кто слышал по вечерам чистые мажорные звуки, воображали, что это радио.

Правда, стал иногда Николай Николаевич сбиваться на минор: такая уж работа, кого хочешь может настроить на невеселые размышления, а то и на философию. Да ведь и сами эти вечерние потайные упражнения стали предметом тоски Николая Николаевича, предметом воспоминаний о звонкой веселой жизни, о задорном коллективном труде, к которому ему мешало вернуться звание гвардии майора.

Николай Николаевич был музыкантом высокого класса и достиг уже такой степени сближения со своим инструментом, что иногда корнет-а-пистон начинал выражать столь глубокие мысли и чувства своего хозяина, которым обычно управдом Николаев не давал хода и о которых даже порой не подозревал в своей жизнедеятельности.

Вот и сейчас с целью отвлечения от печали Николай Николаевич начал исполнять жизнерадостную кавалерийскую песню, но не заметил сам, как перешел на странную и не очень-то веселую импровизацию.

«Как же получилось, как же оказалось, почему в раздоре Само-па-ло-вы? – пел корнет. – Бедный, бедный Сталин, вождь ты мой несчастный, батюшка родимый, милый удалец».

Тут следует заметить, что Николай Николаевич помимо обычного для того времени сыновнего уважения к Сталину и преклонения перед его гениальными качествами питал еще к вождю самую обыкновенную жалость, то есть относился чуть ли не по-отечески, как к своему ребенку, отторгнутому от родителей бесчеловечной судьбой, или как к сироте. Иногда ему казалось, что вождя совсем замытарили его соратники и министры, а также 220 миллионов советских людей плюс все прогрессивное человечество. Конечно, чувств этих он боялся, таил их, но вот иногда они вдруг вырывались через корнет-а-пистон.

«Люди, дорогие, вы не крокодилы, отчего чураетесь дружбы и любви? Тетушка Мария, свой станок несчастный запускай потише, не мешай другим. Дорогой парикмахер, милый Самопалов, вспомни, как Марию нежно ты ласкал, вспомни про дитятю, подели жилплощадь, законы общежития соблюдай во всем. Не пиши ты Сталину, милая Мария, не мешай несчастному думать и творить. Пожалей, голубушка, знаменосца мира, милого, родимого сына и отца», – так пел корнет.

– Тема вождя у вас великолепна, – сказал кто-то за спиной Николая Николаевича.

Трудно, невозможно описать состояние Николая Николаевича в следующий момент. Физические его действия были крайне неприглядны: во-первых, он выронил корнет, во-вторых, упал на пол, в-третьих, пукнул, в-четвертых, попытался спрятать свой инструмент под валик тахты и, наконец, только в-пятых, – обернулся.

Перед ним в нерешительной позе стоял человек с двумя авоськами в руках. Из авосек что-то темное капало на паркет.

– Что? Что вы сказали? – воскликнул Николай Николаевич.

– Не волнуйтесь, – сказал человек, – я просто сказал, что вы очень трогательно и оригинально выразили тему вождя. Такой трактовки я еще не слышал.

– Откуда вы знаете, что я выражал? Что это за парадоксы?

– Просто я понимаю и люблю музыку, – очень серьезно сказал человек с авоськами.

– Значит, вы понимаете язык моего корнета? – Николай Николаевич все еще вел диалог на повышенных, чуть ли не визгливых тонах.

– Да.

– Вы композитор?

– Нет.

– Кто вы такой?

– Я Вениамин Федосеевич Попенков.

Николай Николаевич замолчал и уставился на пришельца. Тот стоял перед ним, subtilный, нечистый и очень вонючий, в затертой бахромчатой пиджачной паре, однако из хорошего довоенного сукна «ударник», в гимнастерке под пиджаком, человек без единого ордена или планки, но с двумя довоенными значками – «МОПР» и «Ворошиловский стрелок». Николай Николаевич больно ущипнул себя сзади – все напрасно, это была тяжелая роковая явь.

– Поймите, – прервал тишину тот, кто назвался Попенковым, – то, что вы играли, очень близко мне. Это моя жизнь, мои чувства, мои страдания. Возьмите этих Самопаловых, к которым так трогательно обращался корнет, я их не знаю, должно быть, это прекрасные, прекрасные (прекрасные! – выкрикнул он) люди, но неужели они не могут поладить? А то, что вы играли о Сталине, это вот здесь, – он указал подбородком на область сердца.

– У вас что-то капает из сеток, – мрачно сказал Николай Николаевич, в душе его дрогнули все струны.

– Немудрено, – кротко улыбнулся Попенков. – Это мясо, – он поднял правую руку, – а это рыба, – он поднял левую руку. – *Omnia mea mecum porto*, в переводе – все мое ношу с собой.

– Вы из заключения? – спросил Николай Николаевич.

Надежда на спасение еще теплилась в нем.

– Нет, – ответил Попенков, – с врагами народа никаких, даже родственных связей не имею.

Николай Николаевич почувствовал себя раздавленным, жалким, почти голым, почти рабом.

– Что вам угодно? – все еще хмурясь, цепляясь все еще за свою должность, спросил он.

– Николай Николаевич, товарищ Николаев, – жалобно проговорил Попенков, – я к вам не только как к человеку, не только как к музыканту, но и как к управляющему домами. Вы прекрасный, прекрасный (прекрасный! – гаркнул он) человек!

Тут он присел и взглянул снизу на Николая Николаевича глубокими впадинами своих глаз, и словно жар пустыни коснулся Николая Николаевича, такова была печаль этих глаз. В следующий момент Попенков, оставив на полу авоськи, подпрыгнул высоко, даже, пожалуй, слишком высоко, бешено потер руки и приземлился.

– Николай Николаевич, я прошу приюта, крова, крыши над головой в одном из вверенных вам домов.

– Но вы же знаете о паспортном режиме, – жалко пролепетал Николай Николаевич, – и потом, куда же я вас поселю, все и так заселено сверх мочи.

– Николай Николаевич, я раскрою карты, я расскажу вам все, – быстро заговорил Попенков. – Я шел сюда издалека, я много пережил, я летел сюда, подгоняемый верностью и любовью к одному человеку. Вот уже год... то есть, простите, вот уже неделю я живу в котловане Дворца Советов. И вот наконец я нашел в себе мужество прийти к нему. Карты на стол – я говорю о замминистре товарище З.! Дело в том, милый Николай Николаевич, что я несколько раз спасал З. жизнь. Я жертвовал собой ради него, и он говорил мне: Вениамин, приезжай ко мне, будешь моим другом, братом, частью меня самого. И вот я пришел, и что я вижу – жена, молодая красавица, красавица (красавица! – выкрикнул он), антикварные гарнитуры... Я очень обрадовался за него. Но З. меня не узнал, больше того, он даже испугался меня. Я не понимаю, как можно пугаться меня, маленького жалкого человека. Короче, З. показал мне на дверь. Поверьте, я не осуждаю его, З. – замечательный, замечательный (замечательный! – крикнул он) человек, я понимаю его – ответственный участок работы, умственное и физическое перенапряжение, молодая жена и т. п., но что мне теперь делать, ведь это была моя последняя надежда.

Попенков присел снова на корточки и глянул на Николая Николаевича снизу вверх, и если бы управдомами имел хоть небольшое представление о географии нашей планеты, он сравнил бы печаль его очей с древней печалью Месопотамии или выжженных солнцем холмов Анатолийского полуострова. Но поскольку у него не было предмета для сравнения, непосредственная печаль этих очей подействовала на него сильнее, чем на какого-нибудь ученого географа или историка.

– Вот вы говорите, что страдали, что жили в котловане, и все-таки я не знаю, где вас поселить, – дрожащим, срывающимся голосом сказал Николай Николаевич. – Ведь вы понимаете, я не могу резонно повлиять на З., ведь это птица не моего полета...

– Да-да, и не моего тоже, – поддакнул Попенков.

– Он же живет-то у нас просто, знаете ли, из своего рода чудачества, да еще из-за того, что жена его любит дореволюционные лепные потолки, по сути дела, он живет здесь, на Фонарном, просто из-за своего демократизма, и я уж не знаю, как с вами-то быть, товарищ Попенков, – Николай Николаевич растерялся вконец.

– Да вы не смущайтесь, – ободрил его Попенков, – я ведь неприхотлив. Любое подсобное помещение. К примеру, ваш подъезд, он обширен и прекрасен...

– В подъезде нельзя, участковый, знаете ли, очень суров. На дворников я еще могу повлиять, но участковый...

– А-та-та-та-та-та, а-та-та-та-та-та, – звонко щелкая языком, задумался Попенков. – А-та-та-та-та-та... Лифт! Ваш отличный просторный лифт! Меня бы это вполне устроило.

– Лифт – место общего пользования, – пробормотал Николай Николаевич.

– Ну, разумеется, – подтвердил Попенков, выпрямляясь. – Поверьте, я никому не буду мешать. Вы мне дадите раскладушку, и я буду ставить ее в лифте только тогда, когда удостоверюсь, что все в сборе, что все птички уже в гнездышках, а в шесть утра я уже на ногах и лифт к общим услугам. В случае крайней ночной надобности, «Скорая помощь», или, скажем, из органов товарищи придут, я моментально освобождаю лифт, выпархиваю из него. Идет? Ну, ну, Николай Николаевич? Я вижу, вы уже согласились. Ну, последнее усилие. Помните, дорогой, о чем пел ваш корнет-а-пистон. Люди дорогие, вы не крокодилы, отчего чураетесь дружбы и любви.

– Ну, хорошо, раскладушку я вам дам, но вы уж извольте помнить, что лифт – место общего пользования, – заворчал Николаев; всегда он так ворчал, когда шел кому-нибудь навстречу. – Пойдемте, товарищ Попенков.

– Подождите! – воскликнул Попенков. – Давайте помолчим. Такие минуты надо фиксировать.

Николай Николаевич в полной уже расплывчатости, словно под гипнозом, молча зафиксировал эту минуту.

Затем они вышли в переднюю. Клавдия Петровна выглянула из кухни и замерла, раскрыв рот, глядя, как муж ее лезет на антресоли за раскладушкой. Попенков скорбно взирал на нее уже с лестничной площадки.

– Вот вам раскладушка, – буркнул Николаев. – Учтите, рассчитана только на одного: пружины слабые.

– Николай Николаевич, вы прекрасный, прекрасный (прекрасный!) человек. – Попенков с раскладушкой под мышкой стал спускаться.

– Скажите, а как вы попали ко мне? – спросил вслед Николаев.

Попенков обернулся.

– Обычным путем. Да вы не волнуйтесь, Николай Николаевич, о вашем корнете я никому. Ни гугу, могила. Ведь я понимаю, у каждого есть свои маленькие тайны, вот я, например...

– Вы уж меня, пожалуйста, в ваши тайны не посвящайте, – мрачно сказал Николаев, покосившись на авоськи, из которых продолжало что-то капать.

Закрыв дверь, он напустился на Клавдию Петровну:

– Ты что же, мать, двери не закрываешь, когда тебя просят?

– Коля, дружок, побойся бога, замкнула я, как взялся ты играть, и цепочку повесила.

– Что же он, в окно влетел, что ли?

– В самом деле, – ахнула Клавдия Петровна, – не в окно же. Может, и впрямь я запамятовала, закрутилась по кухонным вопросам. Старею, Коля, склероз, видать... А кто таков-то?

– Из органов, – буркнул Николай Николаевич, чтобы пресечь дальнейшие расспросы.

Супруга у него была натренированная и затихла.

В этот вечер некоторые из жильцов, проходя в лифт, замечали в темном углу парадного скорбную фигурку с двумя авоськами и с раскладушкой, а некоторые проходили, не замечая. Попенков приветствовал жильцов смиренным наклоном головы. Когда последний жилец, легкомысленная Марина Цветкова, ловко ускользнув от провожающего офицера, поднялась в лифте к себе на этаж, и когда офицер перестал колобродить по подъезду и возмущаться коварством Марины, Попенков опустил лифт, поставил в нем раскладушку, поел немного мяса, немного рыбы и принял горизонтальное положение. В этом положении он с чувством глубокой благодарности подумал об управдомах Николаеве, с легкой симпатией о Марии Самопаловой, которую знал пока только по песне корнета, с легкой укоризной о замминистре З., с легким волнением о его молодой красавице жене, с легкой игривостью о быстроногой Цветковой Марине, а затем погрузился в мечты.

Мечты его были необузданны, почти фантастичны, но о них мы пока распространяться не будем, скажем только, что если для всех людей сон – это сон, со сновидениями или без, то для Попенкова сон – это как бы своеобразный разгул мечты.

Утром, ровно в шесть, Попенков очистил лифт и встал в своем углу, смиренно приветствуя выходящих из дома жильцов. Так было на следующий день, на третий, на пятый, на десятый...

Естественно, поползли всякого рода слухи, домыслы, предположения, но в конечном счете все это стекалось в домовую контору и там останавливалось.

Между Николаевым и замминистром З. произошел разговор такого рода.

– Послушайте, товарищ майор, – сказал З., – этот тип из подъезда, он ничего вам обо мне не говорил?

– Он говорил, что не раз спасал вам жизнь, – ответил Николаев.

– Очень многие люди спасали мне жизнь, но вот этого я что-то не помню, – задумался З., – нет, решительно не помню.

– Может быть, еще спасет, – предположил Николаев.

– Вы так считаете? – опять задумался З. – А он не опасен? А то, знаете, сам я не из трусливого десятка, но милиционер мой волнуется.

(На площадке замминистра постоянно дежурил старшина милиции Юрий Филиппович Исаев.)

– Я думаю, он не опасен, – сказал Николаев, – что в нем опасного? Несчастный человек, тонкий, разбирающийся в искусстве.

– Ну, тогда пусть, – махнул рукой З.

Вот, собственно говоря, и все, на этом заканчивается первая глава. Следует только еще сказать, что к Попенкову скоро все привыкли, а многие даже прониклись сочувствием. Вскоре он стал вхож в некоторые квартиры.

Он умел слушать людей, сопереживать, и довольно большая часть жильцов раскрыла перед ним свои души. Правда, рабочий класс во главе с водолазом Фучиняном косился на Попенкова и близко к себе не подпускал.

Справка техника-смотрителя

Двойная дверь дома № 14 открывается наружу, ширину имеет 3 метра 52 сантиметра, высоту 6 метров 7 сантиметров. Дверь изготовлена из древесной породы, называемой «дуб», имеет с двух сторон медные ручки в виде пресмыкающегося животного «змеи».

Над дверью имеется фонарь в сетке из цветного металла, сетка состоит из 24 ячеек, лампочка (100 в.) цела.

Примечание. Дубовая поверхность обеих створок двери имеет резное изображение виноградного фрукта, сильно пострадавшее в нижних частях. В трех сантиметрах от наружной ручки вырезанная острым предметом надпись из трех букв скрыта тремя параллельными надрезами по приказанию домовой конторы, однако при внимательном рассмотрении читается.

Пройдя через двери, мы имеем перед собой овальное помещение, т. н. парадное, площадью примерно 178,3 кв. метра. Цифра приближительна, поскольку точную квадратуру овала измерить столь же трудно, сколь квадратуру круга. Высота куполообразного потолка «парадного» в высшей точке 16,8 метра. Пол представляет кафельную мозаику ориентального, точнее, мавританского характера (консультация в Институте востоковедения). Пол имеет повреждения плиточного фонда в размере 17,2 % к общему числу плиток.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.